

ПОД
XIX

1007111434



83
Г-59

ГОД ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

АЛЬМАНАХ ДЕВЯТЫЙ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ: М. ГОРЬКОГО,
Л. АВЕРБАХА, Е. ГАБРИЛОВИЧА,
В. ЕРМИЛОВА, В.С. ИВАНОВА,
В. КИРПОТИНА, П. ПАВЛЕНКО,
Н. ТИХОНОВА, А. ФАДЕЕВА

БИБЛИОТЕКА 5905
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДЯЩИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
МОСКВА 1936

Tous droits de traduction et de reproduction hors de l'URSS interdits.

Перепечатка за пределами СССР воспрещается.

Ромэн Роллан

Из дневника

Предлагаемые вниманию читателей заметки взяты из дневника, который Ромэн Роллан вел почти непрерывно, начиная с 1886 года. Выбраны лишь небольшие отрывки, относящиеся к 1895—1897 годам, ознаменовавшим собой перелом в мировоззрении Ромэн Роллана. В ту пору его окружала атмосфера Парижа, почти что оправившегося после панамского скандала и авантюры буланжистов, но уже волновавшегося из-за дела Дрейфуса.

Дневник полностью не будет опубликован ни при жизни Ромэн Роллана, ни раньше установленного им срока — после его смерти. Но автор оставляет за собой право опубликовать в ближайшие годы избранные места из дневника отдельным томом.

М. Р.

Декабрь 1935 г.

1895 года. Январь

Ни одна эпоха так не вдохновляет на драму, как наша. Даже время Шекспира не было богаче элементом трагического. Какое произведение искусства можно было бы создать на историческом материале последних лет — Панамский процесс, буланжистское движение¹, убийство Карно², дело Дрейфуса и т. п., используя все те трагические ужасы, которые я предвижу в ближайшем будущем! При мысли об этом я сознаю, что ничего еще не сделал и что тут-то как раз и открывается поприще для моей деятельности. Весь вопрос заключается в том, удовлетвориться ли формой романа, такого, как «Война и мир», или создать новую литера-

¹ Генерал Буланже, французский военный министр с 1886 года, затеял переворот в фашистском духе задолго до того, как возникло самое слово «фашизм». Потерпев неудачу, он бежал в Брюссель и покончил самоубийством в 1891 году. Ред.

² Сади-Карно — президент французской республики с 1887 года. Убит итальянским анархистом Казерио в 1894 году. Ред.

турную форму, которой будет революционная драма. Дело это трудное, потому что мой дух влечет меня в область драмы по линии упрощения, а личности нашей эпохи — мещанские, не цельные, по природе своей посредственные, далеко не герои; персонажи словно взятые из романа, происхождения — из трагедии.

*

Никто себе не представит (если только мне удастся выполнить задуманное), с каким трудом я создавал своих героев (таких, о которых я мечтал) в среде, вероятно, более чем когда бы то ни было тусклой, расслабленной и трусливо-снисходительной, в атмосфере изысканной расхлябанности, навеянной книгами, газетами, театрами и разговорами наиболее близких мне людей; меня терзала борьба с возвращающимися, пошлыми мыслями, поступками и готовностью идти на компромиссы; меня изнуряли нелепые дела, неблагоприятная работа с двенадцатилетними детьми¹, педантические изыскания, уроки лицемерной морали, меня угнетало сознание, что никто из самых близких друзей не понимает моих мыслей, моей внутренней силы и моих героев.

*

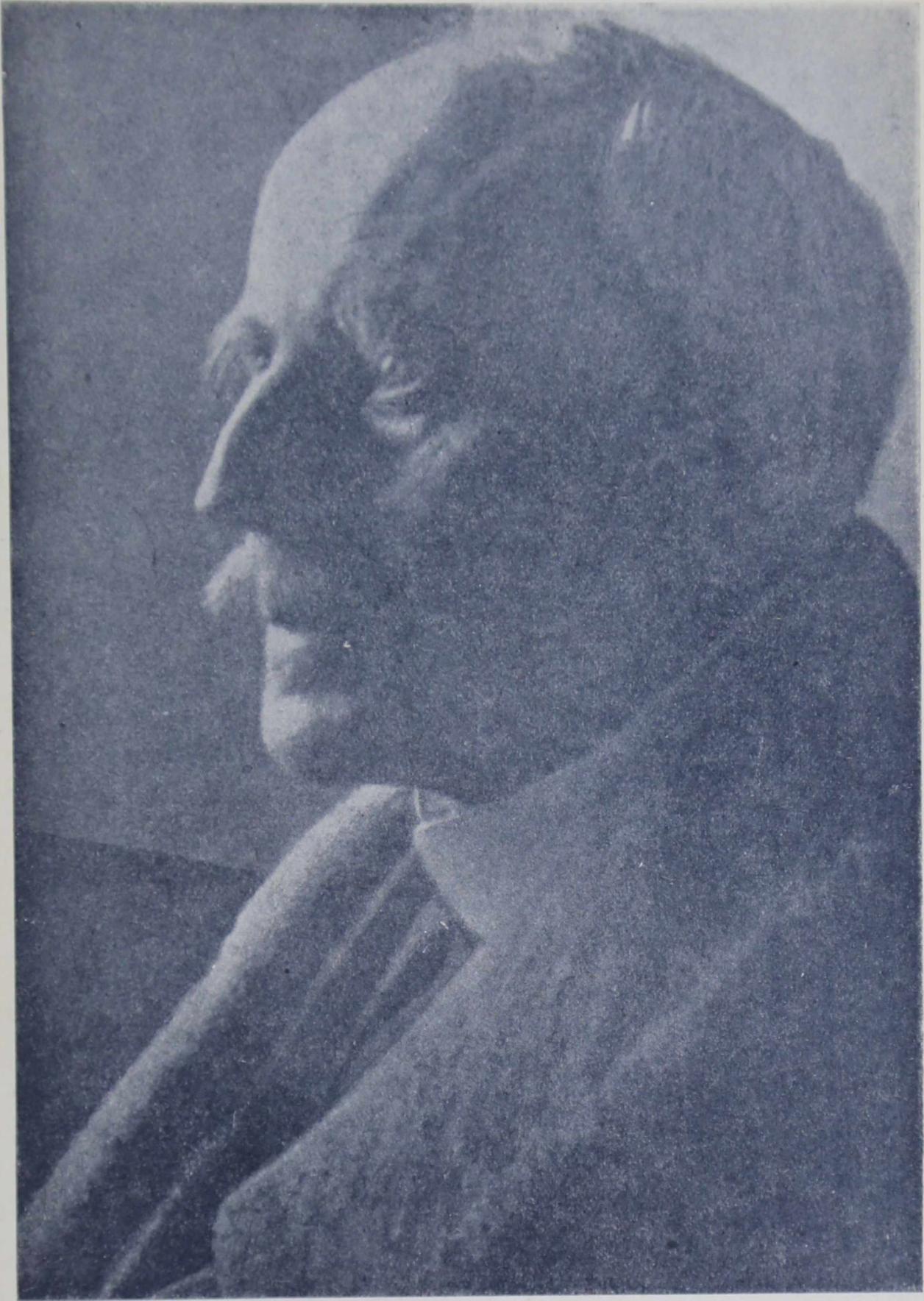
Званный обед². Среди присутствующих несколько работников из Алжира. Финансисты. Инженеры. Дельцы французской республики. Рассудительные, зоркие и предприимчивые в ведении своих дел, равнодушные к людям, улыбающиеся, замкнутые, жестокие. Их твердые лбы говорят о преступлениях, а на столе, за которым сидят, мясо поставлено среди цветов. Об охоте они говорят со зверским воодушевлением, о любви — с грубостью и только о деньгах — с обстоятельностью и уверенностью, улыбчивой и холодной. В курительной комнате они что-то записывают. В углу гостиной две дамы толкуют о любовных похождениях молодой актрисы и дамы из общества. Мой сосед расхваливает мясо болотных куликов впросырь: «Мне подают их на раскаленном блюде, кровь струится под ножом. Что за прелесть...»

«...Обед у короля в Фонтенебло, за которым подают целого оленя, зажаренного в его собственной коже с рогами... Отвратительная кладовая для мяса, в которой собираются мужчины и женщины перед трупами животных, грудами раздробленных костей, растерзанного мяса, чтобы с жадностью насыщаться всем этим...»³.

¹ На мне лежало в те годы преподавание философской пропедевтики в парижской школе имени Ж. Б. Сэй. Р. Р.

² Здесь, как и во многих местах дневника, читатель встретится с персонажами «Жана Кристофа» («Ярмарка на площади»). Р. Р.

³ «Воспоминания герцога Сен-Симона». Р. Р.



Roman Kollár

(По поводу одной имевшей успех парижской комедии, которую пришлось видеть в брюссельском театре.)

Мы вернулись возмущенные глупостью публики, которая вне себя от этого бесстыдного паясничания. Ведь это люди из общества, среди них очень мало простых обывателей; места в верхних ярусах пустуют. Так вот оно искусство, нужное сегодняшней аристократии! Пусть же настанет революция, которая втопчет эту сволочь в грязь — ее природную стихию! Разве для такого народа писал я свои драмы? Нет, между мной и ими расстояние большее, чем между человеком и собакой. Мы не одной породы...

*

Апрель 1895 года. (Путешествие в Голландию)

В Гааге... Я не упускаю случая посетить моего старого друга Спинозу. Я всегда испытываю изумление и удовольствие при виде его лица, напоминающего о Паскале, но с мягкими чертами и проникнутого меланхолическим очарованием. Он жил возле небольшого канала, осененного высокими деревьями. И столь равнодушен оставался он, должно быть, ко всему этому движению лодок и людей! Тем не менее он был гораздо сердечнее, чем обычно полагают.

Я пошел также взглянуть на его друзей, обоих де-Витт¹, и на тюрьму, где они были умерщвлены. Маленькая низкая камера в первом этаже, окно выходит на угол площади. Оттуда с девяти часов утра и до пяти часов вечера (пока их держали взаперти) они могли видеть толпу, неистово требующую их казни. Изящный портрет Яна де-Витта в молодых годах, писанный Миервельтом, к сожалению, не воспроизведенный, тогда как по фотографиям известны унылые, наводящие скуку облики обоих братьев в старости, и портрет великого пенсионария, на котором он сходен с принцем Кондэ, с той лишь разницей, что у принца были глаза хищной птицы. Ужасающие описания убийства, иллюстрируемые гравюрами, где изображена толпа, которая распарывает живот братьям де-Витт, пожирает их мясо, вырывает у них кишки и бросает окровавленные куски собакам. В этих описаниях я прочел, что пальцевый сустав Яна де-Витта был продан за 12 су, целый палец за 15 су, палец с

¹ Ян де-Витт (1625—1672) — известный нидерландский деятель, отстаивавший независимость Нидерландской республики от монархических поползновений Вильгельма Оранского. Старший брат Корнелий де-Витт (1623—1672) был обвинен в заговоре против Вильгельма. Обоих братьев зверски убили в тюрьме. *Ред.*

ноги за 10 су, кусок уха за 25 су! Подлое человечество! Стоит ли себя с ним связывать.

*

Лодка, наполненная розовыми и белыми гиацинтами, скользит по поверхности воды на одной из улиц Гарлема. Весь воздух кругом наполнен терпким и томительным благоуханием.

*

8 мая 1895 года. Париж. Первое представление во Франции «Маленького Эйольфа» Ибсена в театре «Эвр».

Первый акт повергает меня в трепет. Ибсен еще никогда не очерчивал женского характера с такой живостью. Острота его наблюдения проникает в ваше сердце, как угрызения совести. Конечно, он достигает своего, каждый чувствует себя виновным...

Среди зрителей кокетки, бездарные художники и эстеты... Все та же вечная ирония. Тот, кто презирает жизнь, слышит приветствия из уст этих жеманных эстетов, тогда как те немногие, кто мог бы ему посочувствовать, чьи судорные и скорбные сердца исполнены чувства протеста, его не читают или отступают перед норвежской туманностью его мысли.

Отметим: нельзя написать великое произведение, не подвергаясь опасности осмеяния. Чтобы проникнуть вглубь вещей, нужно пренебречь боязнью людского мнения, стыдливостью, социальной ложью, которые повергают нас ниц и душат. Следовательно, для того, чтобы заставить сыграть великое произведение, нужно приобрести право навязать его силой... «Маленький Эйольф» потерпел бы полный провал под градом насмешек, если бы он не был освещен лучами славы легендарного существа, Ибсена далеких фиордов. Его не удалось бы даже довести до конца первого акта. Его автор показался бы смешным в Париже, если бы он не получил признания в Европе.

...Всякий раз, когда я смотрю драму Ибсена, я думаю во время первого акта: вот подлинный театр. Он создан из нашей плоти, наших горестей, нашей жизни. Это не прозрачная мечта, исчезающая при свете нашего времени. Но в течение следующих актов я возвращаюсь к моему идеалу и нахожу его еще более возвышенным. Буржуазная драма Ибсена, современная, символическая, превосходно ставит вопросы; она не разрешает их. Это лишь экспозиция, останавливающаяся на полдороге... В «Эйольфе» Ибсен показывает ту преступную ложь, которой живут лучшие среди нас, показывает обманчивые, эгоистические мечты, смертоносные мысли и кумиров корыстной любви, которых нам нужно

свергнуть для того, чтобы стать правдивыми, честными; в этой области Ибсен не знает себе равных. Но когда он доходит до изображения идеальной жизни, которою он надеется своих, достигших свободы, персонажей, до изображения счастья в отречении, как он тогда ограничен, какими скудными, холодными и бесцветными становятся его слова!

Здесь-то и начинается искусство, к которому я стремлюсь, — как раз в том пункте, которым кончает Ибсен. Нужно уничтожить излишние разглагольствования, потуги на освобождение от современной действительности. Нужно сразу утвердиться в мире красоты, жертвы, братской любви и привлекать к нему прелестью свежей воды и умиротворяющего воздуха. Лучше всего было бы сочетать с этим искусством достоинства ибсеновской драмы. Для этого нужно было бы ввести в героический план страсти и желания моего времени. Я мог бы это сделать, лишь взявшись за вопросы социального порядка.

Они занимают большое место в современном искусстве. Я ощущаю огромное брожение, которое во всей Европе подготавливает революцию. Ибсен, Толстой, молодые деятели искусства в Германии и Франции охвачены этим лихорадочным возбуждением. Немало глупцов, рассудительных людей, которые во всем этом видят лишь выдумки нескольких декадентов! Нет, деятельность выковывается в этих странностях искусства и мысли; деятельность разрушительная и роковая, которая ниспровергнет старый мир и откроет дорогу новому обществу. Нечего гордиться этим кому бы то ни было из нас; мы все погибнем, друзья и враги. Самое главное не в том, чтобы продолжать жить, а в том, что жил. Нужно на мгновение опьяниться вихрем, уносящим вселенную...

*

16 мая 1895 года

Морис Поттешэ завтракает вместе с нами. Он говорит нам о политическом произволе, который давит на прессу. Ему, редактору журнала «Републик Франсез», органа Мелина¹, не было разрешено поместить отзыв о последней книге Толстого, содержащей статьи об обществе и о войне. За помещение невинной статьи по поводу «Письма Сеипсе» (Андре Сюареса) он получил от Мелина выговор. По той же самой причине Поль Дежарден сразу поссорился с редакцией газеты «Дэба», которая не позволила ему напечатать

¹ Жюль Мелин (1838—1925) — французский политический деятель, лидер республиканцев-прогрессистов, влиятельный в парламентских кругах. Ред.

статью о Сеипсе. По той же самой причине Анри Бауэр¹, очень сочувственно относящийся к Сюаресу, не принял у Поттешэ статьи о Сеипсе, говоря, что в «Эко де Пари» не печатают ничего касающегося анархии.

Вчера я читал в «Аннюэр де л'«Эколь Нормаль», что профессор Пелисье² после долгой трудовой жизни (ему исполнилось 65 лет), совершив преступление напечатанием «Великих уроков христианской древности» (за год перед тем он напечатал «Великие уроки античной древности»), был устранен от чтения лекций в Коллеж Шапталь, подал в отставку и получил от Муниципального совета окончательное отрешение от должности. Повсюду подлая тирания и боязнь свободы...

*

Май 1895 года

Социалистические идеи просачиваются в меня вопреки моей воле, вопреки моим интересам, вопреки моему отвращению к ним, вопреки моему эгоизму. Я не хочу думать о них, а они все-таки ежедневно проникают в мое сердце...

Каждому по потребностям, чтобы поддерживать существование: вот основной принцип. И работа для всех. Работа, соответствующая силам и способностям. Если она так трудна в наше время, то это потому, что плоды ее собираются меньшинством. Но что должно стать с искусством перед лицом этой неотложной задачи? Не будет ли оно стеснено? О, если бы так могло быть! Какое счастье для дела красоты! Да, нужно, чтобы художник выполнял свою работу, полезную для общества (при помощи рук или ума), и только за такую работу он должен получать плату. Он не должен ее получать за свое искусство. Художника, продающего свою картину за сотни тысяч, я не больше признаю, чем банкира, играющего на бирже.

Тот, кто действительно является художником, будет служить своему искусству даже бесплатно, даже будучи в стесненных обстоятельствах. Когда искусство отодвинуто на задний план, у него меньше практических возможностей, зато оно достигнет неведомых высот. Пусть социализм освободит нас от эпидемии художников и литераторов, которые живут и жиреют за счет проституируемого искусства.

¹ Этот критик, занимавший прочное место в «Эко де Пари», через несколько лет был грубо устранен от работы в газете за то, что захотел похвалить мою драму «Волки», написанную под влиянием дела Дрейфуса. Р. Р.

² Жорж Пелисье — популярный французский критик и историк литературы второй половины прошлого века. На русский язык переведены его «Литературные характеристики XIX столетия». Ред.

раничимся лишь указанием на те стороны его, которые имеют самое непосредственное отношение к теме настоящей статьи. Прежде всего, следует отметить, что статья «Very dangerous», которой Герцен придавал особое значение (недаром рядом с ее заголовком был изображен указующий перст, призванный, без сомнения, фиксировать на ней читательское внимание), не является выражением личной точки зрения Герцена. Поскольку она перекликалась и с полемическими выпадами легальной русской печати против «Свистка» и с определившимся уже отношением к этому последнему со стороны либералов кавелинско-тургеневского типа,— ее и можно и должно считать выражением мнения определенной социально-политической группировки. Пусть в этой статье много натяжек, крайностей, прямых ошибок, пусть она не вполне добросовестна, ибо прибегает к намекам и сопоставлениям, не лишенным клеветнического характера,— все же видеть в ней, как это делает, например, Лемке «едва ли не самое выдающееся в истории русской журналистики недоразумение, вызванное удивительным по своей колоссальности непониманием мыслей Добролюбова» (см. вступит. заметку к ст. «Что такое обломовщина?» Собр. сочин. Добролюбова, т. III),— никоим образом не приходится. Для нас совершенно ясно, что в данном случае имел место не «опротечивый», а глубоко обдуманый шаг, вызванный не «роковым» недоразумением» и не «колоссальным непониманием», а просто-напросто тем, что Герцен и редакция «Современника» в 1859 году сражались на разных сторонах баррикады, ибо защищали интересы враждующих классов. Когда, двадцать два года тому назад, пишущему эти строки впервые случилось подойти к изучению этой проблемы (см. нашу статью «Некрасов и Герцен», «Заветы» — 1913, № 12),— он, хотя и не стоял еще на классовой точке зрения, однако все же с достаточной определенностью показал на материале руководящих статей «Колокола», что Герцен конца 50-х гг. защищал позиции довольно-таки умеренного либерализма, возлагая свои упования на благую волю «галилеянина», т. е. Александра II, в то время, как редакция «Современника» уже явным образом склонялась к революционно-демократической платформе.

И защита Герценом либерального обличительства, столь возмущавшего Добролюбова своей мелкотравчатостью, и апология «лишних людей», иными словами, представителей дворянского либерализма 30-х и 40-х гг. (Онегин, Печорин, Бельтов), столь жестоко раскритикованных Добролюбовым в статье «Что такое обломовщина?» — преследовали очень определенную цель. Герцен хотел доказать, что мы уже «вышли из острога», а потому и либеральное обличительство и «лишние люди» могут принести и приносят свою

долю пользы. Отсюда вывод, что Добролюбов, громя обличительство и «лишних людей», играет в руку реакции. С точки зрения же Добролюбова «мы продолжали еще сидеть в остроге», и ни о чем другом, кроме разрушения стен острога, думать нам покамест не приходится. Вот в чем смысл этого знаменательного столкновения двух течений русской общественной мысли. Заключительные слова статьи Герцена о том, что «милые паяцы», идя избранным ими путем, легко могут «досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею», — придали столь исключительную остроту спору, что редакция «Современника» сочла себя вынужденной командировать в Лондон Чернышевского для личных объяснений с Герценом. Сбить Герцена с его принципиальных позиций Чернышевскому, повидимому, не удалось¹, но все же, под влиянием доводов Чернышевского, Герцен обязался печатно заявить, что он отнюдь не имел в виду намекать на какие-либо связи своих противников с правительственной властью, каковое обязательство и осуществил в № 49 «Колокола» в особой редакционной заметке. Однако последняя не могла смягчить, да и не ставила себе этой цели, принципиальных разногласий между группою «Современника» и Герценом. Под непосредственным впечатлением свидания с последним, Чернышевский аттестовал его в письме к Добролюбову следующими словами: «Кавелин в квадрате!» Если принять во внимание, что «современниковцы» видели в Кавелине воплощение наиболее неприемлемых сторон русского либерализма, то аттестацию эту нельзя не признать очень резкой. Здесь, конечно, Чернышевский несколько хватил через край, ибо как ни велики были в эти годы колебания Герцена в сторону либерализма, — все же он был только временным гостем в либеральном лагере и, во всяком уже случае, стоял в нем на крайне левом фланге. Однако самая возможность подобной оценки в устах Чернышевского говорила уже о том, что между либералами всех оттенков, не исключая и самого левого из них, Герцена, и революционными демократами из «Современника» уже не было и не могло быть общего языка.

¹ Нужны были массовые расстрелы как «обобранных гг. либеральными освободителями» крестьян, так и польских борцов за свободу, чтобы Герцен почувствовал, в какой тупик он зашел, соблазненный якобы благими намерениями «галилеянина», чтобы он, по слову Ленина, «встал на сторону революционной демократии против либерализма» и, бичуя «усмирителей, палачей и вешателей Александра II, спас честь русской демократии». Но в дни лондонского свидания до этого еще было очень далеко.

В начале 1860 года оборвались последние нити, связывавшие «Современник» с Тургеневым. В мемуарной литературе есть указания (см. воспоминания Панаевой и Антоновича), что статья «Very dangerous» была, если не вдохновлена Тургеневым, то во всяком случае основана на тургеневской информации. Даже отвергая эту версию, как недостаточно обоснованную, не приходится сомневаться в том, что летом 1859 года Тургенев уже занимал в отношении «Современника» явно враждебную позицию. Чрезвычайной резкостью отличается его отзыв и о Некрасове и о «господах» из «Современника» в письме к Фету от 1 августа 1859 года. С другой стороны, если отказ отдать в «Современник» свой третий роман (не забудем, что первые два были напечатаны в «Современнике») еще не являлся явным объявлением войны, то, во всяком случае, предвещал скорое открытие военных действий. Они и начались с наступлением нового, 1860 года. Речь Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», произнесенную 10 января 1860 года на вечере в пользу «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым», хотя она и предназначалась для помещения в «Современнике», многие сочли за выпад против «левого крыла» «Современника» (см. «Воспоминания» Л. Ф. Пантелеева). «В наше время,— говорил в ней Тургенев,— Гамлетов стало гораздо более, чем Дон-Кихотов... Что выражает собой Дон-Кихот? Веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое; в истину, находящуюся вне отдельного человека... Дон-Кихот проникнут весь преданностью к идеалу... Что представляет собой Гамлет? Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье¹. Он скептик... Отсюда проистекает его ирония, в противоположность энтузиазму Дон-Кихота... Гамлет тот же Мефистофель. Отрицание Гамлета сомневается в добре... В отрицании, как в огне, есть истребляющая сила... Дон-Кихот глубоко уважает все существующие установления: религию, монархов и герцогов² и в то же время свободен и признает свободу других. Гамлет бранит королей, придворных и в сущности притеснителен и нетерпим... Гамлет при случае коварен и даже жесток... Один английский лорд (хороший судья в этом деле) назвал при нас Дон-Кихота образцом настоящего джентльмена. Дон-Кихот имеет полное право на это название. Он истинный гидаль-

¹ И здесь и в дальнейшем разрядка наша.

² Уже одних этих слов достаточно, чтобы усомниться в справедливости мнения М. К., утверждающего, что Тургенев в образе Дон-Кихота изображает «революционера». (Сочинения Тургенева, ГИХЛ, 1933, стр. 536).

го... Гамлет при всей своей изящной обстановке, нам кажется, извините за французское выражение: *ayant des airs de parvenu!*¹ Он тревожен, иногда даже груб, позирует и глумится».

Нельзя отрицать, что смысл приведенных утверждений в иных случаях несколько ослабляется другими, нами не цитируемыми, однако их совокупность все же предрасполагает к выводу, что тургеневскому противопоставлению Гамлета Дон-Кихоту присущи были такие черты, которые давали известное основание для сближения идеалиста, «гидальго», «джентльмена» Дон-Кихота с представителями русского дворянского идеализма и тем более для сближения «скептика», «отрицателя», «нетерпимого», «грубого», «глумящегося» над «всеми существующими установлениями», «выскочки» Гамлета с «желчевиками», — так прозвал несколько позже Герцен революционно-демократическую группу «Современника».

На этом же вечере Тургенев в разговоре с Чернышевским назвал последнего «просто змеей», а Добролюбова «очковой змеей». Шутливый тон, которым были произнесены эти слова, отнюдь не снижал их агрессивной сущности. Несколько позже Тургенев от шуток подобного рода перешел уже к действиям отнюдь не шуточного порядка. Ознакомившись в корректуре со статьей Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», он решительно воспротивился ее помещению на страницах «Современника»². Однако она все же была напечатана в мартовской книжке журнала, пройдя через ряд цензурных мытарств³. Хотя мы и не знаем, что представляла статья Добролюбова в первоначальном виде, однако, вчитываясь даже в ее журнальный текст, кастрированный и самим автором и цензором, нетрудно догадаться, какие стороны ее содержания должны были вызвать неудовольствие Тургенева. Так, несмотря на определенно благо-

¹ Производящим впечатление выскочки.

² Еще в 1916 г. нам удалось разыскать в бумагах Некрасова следующую записку Тургенева, относящуюся, несомненно, к этому эпизоду: «Убедительно тебя прошу, милый Н., не печатать этой статьи: она, кроме неприятностей, ничего мне наделать не может, она несправедлива и резка — я не буду знать, куда бежать, если она печатается. Пожалуйста, уважь мою просьбу. Я найду к тебе. Твой И. Т.» В том же году она была напечатана нами в «Голосе минувшего» № 10.

³ Мытарства эти заключались в следующем: цензор Бекетов, к которому статья Добролюбова попала на просмотр, несмотря на свой хваленый либерализм, запретил ее. Однако вскоре после этого цензурование «Современника» перешло к цензору Рахманинову. Добролюбов, переделав статью, поспешил ее представить Рахманинову. Последний многое в ней изменил, но к печати дозволил.

желательный тон, усвоенный критиком в отношении автора «Накануне», его утверждение, что Тургенев, отдавшись «изображению того, как Инсарова любят и что от этого происходит», пренебрег возможностью «поставить своего героя лицом к лицу с самим делом — с партиями, с народом, с чужим правительством, со своими единомышленниками, с вражеской силой», — не могло быть приятно Тургеневу. Ведь это значило, — таков был смысл сказанного Добролюбовым, — «из всей Илиады и Одиссеи» присвоить «себе только рассказ о пребывании Улисса на острове Калипсы» и дальше этого не пойти. Впрочем, продолжает Добролюбов, «автор наш вовсе не хотел, да, сколько мы можем судить по его прежним произведениям, и не в состоянии был бы написать героическую эпопею».

Тем более Тургеневу не могло понравиться, что Добролюбов, говоря об его романе, воспользовался случаем, чтобы обосновать чисто революционный взгляд на русскую современность. Нам тоже нужны Инсаровы, — таков смысл рассуждений Добролюбова, — но их задача гораздо труднее, чем задача тургеневского Инсарова, который думает только о том, как «вытурить турок» из Болгарии. Русские же Инсаровы должны будут бороться с «внутренними турками», т. е. с защитниками и охранителями ненавистного критику старого порядка. Когда появятся русские Инсаровы, — тогда-то и «придет настоящий день», т. е. революция.

Свое раздражение Тургенев проявил не только фактом прекращения сотрудничества в «Современнике», — с этого времени он становится непримиримым врагом и журнала и его руководства. Добролюбов, надо думать, не слишком был огорчен тем оборотом, который приняло дело, ибо никогда не придерживался соглашательского правила: «худой мир лучше доброй ссоры». Твердо и неуклонно продолжал он идти избранным им путем и дал ряд новых доказательств своей верности идеологии революционной демократии. Это относится как к его литературно-критическим, так и публицистическим статьям. Из первых, кроме статьи о «Накануне» (в № 3, 1860 г.), назовем «Черты для характеристики русского простонародия» по поводу рассказов из народного быта Марка Вовчка (1860 г., № 9), «Луч света в темном царстве» (1860 г., № 10) и «Забитые люди» (1861 г., № 9). Статьи эти пользуются широкой известностью, а потому едва ли необходимо на них останавливаться.

Наряду с литературно-критическими статьями Добролюбова, в его современниковской продукции рассматриваемых двух лет все большую и большую роль начинает играть чистая публицистика. В чисто публицистическом плане разгромил Добролюбов в известной статье «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (1860 г., № 1) столь прослав-

ленного либералами попечителя Киевского учебного округа, Н. И. Пирогова, как только узнал, что Пирогов санкционировал употребление телесных наказаний в школах Киевского округа. Не менее громоносными были и его удары («Современник», 1860 г., № 3), обрушенные на голову мате­рого обскуранта, представителя рутинной науки М. П. Погодина в связи с диспутом последнего с Н. И. Костомаровым о происхождении варягов.

Расстроенное здоровье, вынудившее Добролюбова выехать в мае 1860 года за пределы России и поселиться в Италии, не прервало, однако, его сотрудничества в «Современнике». Горячо заинтересовавшись итальянскими делами, — в Италии в это время разгоралась национальная революция, возглавляемая Гарибальди, — он посвятил им ряд обширных статей. В этих статьях — «Непостижимая странность» (1860 г., № 11), «Из Турина» (1861 г., № 3) и «Жизнь и смерть гр. Кавура» (1861 г., №№ 6 и 7) — Добролюбов проявил удивительное искусство на итальянском, так сказать, материале обосновывать выводы, имевшие самое непосредственное отношение к русским делам. В самом деле, разве мысль, положенная в основу «Непостижимой странности», — как бы ни был угнетен народ рабством и произволом, каким бы покорным, смиренным и преданным династии он ни казался, все же он найдет в себе достаточно сил на борьбу, — не имела самого прямого отношения к тогдашней российской современности, хотя Добролюбов и приходит к ней путем анализа событий, происходивших в Неаполитанском королевстве? С другой стороны, разве из статьи в статью переходившая уничтожающая критика либерала Кавура и применяемых им методов не попадала не в бровь, а прямо в глаза российским либералам? Недаром орган этих последних, «Отечественные записки», буквально не находил слов, чтобы достойным образом заклеить антикавурианство Добролюбова. Корректный сотрудник «Отечественных записок» Альбертини в «политическом обозрении» апрельского номера 1861 г. не постыдился употребить следующие выражения: «В «Письме из Турина»... уже не помоями, — нет, этого мало, а раствором ассафетиды, какою-то такою гадостью, которой уже нет названия, облито все, что составляет славу, величие современной Италии... Это такой верх умственного и нравственного безобразия и цинизма, о котором трудно составить себе понятие, не понюхав одуряющего смрадного запаха самой статьи» и т. д. и т. п. Итак, с точки зрения журнала Краевского и его политического обозревателя, развенчивание итальянских либералов приравнивалось к посягательству на то, что «составляет славу, величие современной Италии».

Трудно сказать, к чему привела бы Добролюбова столь

обострившаяся в 1861 году борьба с либералами, если бы смерть не выбила оружия из его рук. Вот как М. А. Антонович в той части своих воспоминаний о Добролюбове, которая была изъята цензурой¹, описывает последний этап работы Добролюбова для «Современника»:

«Литературный горизонт омрачался все более и более, общественная атмосфера становилась все удушливее и губительно действовала на болезненную чувствительность вообще крайне восприимчивого Добролюбова. Носились мрачные, зловещие слухи, часто неверные, или, по крайней мере, преждевременные. Уверяли, например, положительно, что Чернышевский уже не возвратится из Саратова в С. Петербург, что ему запрещен будто въезд в столицу или даже он будто арестован. Этот слух доконал Добролюбова. Бледный, дрожащий, глухим, задыхающимся голосом он в отчаянии воскликнул: «Что же это такое? До чего мы дожили? Что нам делать? И ниоткуда нам нельзя ожидать ни помощи, ни защиты, а сами мы бессильны!» Подобные слухи, вести и факты, подтверждающие эти вести, окончательно придушили его; он слег в постель, чтобы уже не встать с нее, хотя и тут еще порывался писать и работать. Чтобы еще более не огорчать его и не усиливать его негодования, окружающие скрыли от него довольно настойчивый слух такого же рода, какой ходил относительно Чернышевского, будто бы только благодаря его безнадежному положению он (сам) оставлен был в покое».

Вчитываясь в рассказ Антоновича, начинаешь понимать те мотивы, которыми руководствовались сотоварищи Добролюбова по «Современнику», Некрасов и Чернышевский, указав в своих речах на похоронах Добролюбова, что его смерть должна быть поставлена в связь с реакционной политикой правительства².

Из фактов, сообщаемых Антоновичем, ясно, что хотя Добролюбов и не подвергался направленным лично против него репрессиям, но созданная реакцией общественная атмосфера не могла самым губительным образом не влиять на его и без того совершенно расстроенное здоровье. Нечто

¹ «Воспоминания» Антоновича о Добролюбове в их полном виде, т. е. с изъятиями, сделанными цензурой, были напечатаны нами в книге «Шестидесятые годы в воспоминаниях Антоновича и Елисеева», Academia, 1933 г.

² В донесениях агентов III Отделения содержание этих речей излагается так: «Вся речь Чернышевского, а также и Некрасова клонилась, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвою правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно, одним словом, что правительство уморило его» («Красный архив», 1926 г., т. XIV, стр. 92).

подобное имело место с Белинским: он тоже умирал в период разгула реакции, которою Николай I отвечал на революционные бури 1848 года. Однако за 13 лет, отделяющие смерть Белинского от смерти Добролюбова, много воды утекло: на кончину Белинского «Современник» не имел возможности откликнуться; кончина же Добролюбова вызвала в «Современнике» ряд откликов, свидетельствовавших и о том, как высоко ценили Добролюбова его ближайшие сотоварищи по журнальной работе, и о том, какой незаменимой утратой представлялась им его смерть.

Первыми по времени откликами являлись некролог, составленный Чернышевским (1861 г., № 11), и необычайно тепло и задушевно написанная статья И. И. Панаева «По поводу похорон Добролюбова» (там же см. «Заметки нового поэта»). На ней мы уже останавливались, оттенив ту сторону в ее содержании, которая дает основание утверждать, что Панаев, сам уже близкий к могиле, сопоставляя свое поколение, т. е. поколение «отцов», с поколением «детей», лучшим представителем которого он считал Добролюбова, безоговорочно становился на сторону «детей».

Несколько позднее в «Современнике» были напечатаны (1862 г., № 1) посвященные Добролюбову статьи Чернышевского и Некрасова. Чернышевский в своей статье «Материалы для биографии Добролюбова» стремился разрешить две задачи: с одной стороны, положить начало серьезному изучению жизни и деятельности Добролюбова, которого считал едва ли не самым выдающимся человеком своей эпохи, с другой стороны, дать понять читателям, что Добролюбов был убежденным сторонником материализма, социализма и революции и что этими сторонами его миросозерцания определяется сущность его заветов молодому поколению. Разрешение второй из этих задач было сопряжено с исключительными цензурными трудностями. Однако Чернышевский, в известной, конечно, мере, с ними справился. Так, на переход Добролюбова к материализму ему удалось более чем прозрачно намекнуть там, где он говорит о крушении религиозного миросозерцания Добролюбова. О преданности последнего идеалам социализма и революции он сказал его собственными словами, цитируя его письма к друзьям, например: «Я отчаянный социалист...», и в другом месте: «Меня своротить с моей дороги ужасно трудно, тем более, что я до сих пор не тратил своих сил на серьезную внешнюю борьбу и в случае нужды могу явиться смелым и свежим бойцом».

Оценку Добролюбова как личности и как деятеля Чернышевский формулировал в следующих словах этой же статьи: «Я не встречал человека с более сильным и светлым умом, чем какой был в Николае Александровиче. Но при этом было в нем такое живое сердце, что чувство постоян-

но служило ему первым возбудителем и мыслей, и дел. От этого его убеждения и намерения всегда были реальны, его стремления всегда были чрезвычайно определены, — определены до конкретности, и при всей беспредельности своей теоретической программы он все силы свои обращал на исполнение той части ее, которая могла быть осуществлена непосредственно, чтобы эта частная перемена служила средством для осуществления дальнейших замыслов».

Статья Некрасова «Посмертные стихотворения Н. А. Добролюбова» в своих основных положениях вполне солидаризировалась с точкой зрения Чернышевского. Вот ее концовка¹:

«Мы во всю нашу жизнь не встречали русского юноши столь чистого, бесстрашного духом, самоотверженного! Наше сожаление о нем не имеет границ и едва ли когда изгладится. Еще не было дня с его смерти, чтоб он не являлся нашему воображению, — то умирающий, то уже мертвый, опускаемый в могилу нашими собственными руками. Мы ушли с этой могилы, но мысль наша осталась там и поминутно зовет нас туда и поминутно рисует нам один и тот же неотразимый образ...

Ты схоронен в морозы трескучие,
Жадный червь не коснулся тебя,
На лицо, через щели гробовые,
Проступить не успела вода.
Ты лежишь, как сейчас похороненный,
Только словно длинней и белей
Пальцы рук, на груди твоей сложенных,
Да сквозь землю проникнувшим инеем
Убелил твои кудри мороз,
Да следы наложили чуть видные
Поцалуи суровой зимы
На уста твои плотно сомкнутые
И на впалые очи твои...

Несколько позднее, в стихотворении 1864 года «Памяти Добролюбова» («Суров ты был...»), отрешившись от чисто субъективных переживаний, вызванных горечью понесенной утраты, Некрасов сумел с удивительными силой и яркостью воссоздать образ почившего критика «Современника», этого бестрепетного бойца, который все «свои труды, надежды, помышления» отдал на служение народу.

¹ Любопытно, что эту подлинно некрасовскую статью, прочтенную автором 2 января 1862 г. на вечере в пользу недостаточных студентов, подписанную в «Современнике» его инициалами (Н. Н.), все еще существует тенденция приписывать Чернышевскому (см., напр., «Летопись жизни Чернышевского, изд. Academia, 1933 г., стр. 111—112).

